



Победитель Международного литературного конкурса "4-й открытый Чемпионат Балтии по русской поэзии - 2015" (1 место по оценочной системе ТОП-10). Призер Международного литературного конкурса "4-й открытый Чемпионат Балтии по русской поэзии - 2015" (3 место по оценочной системе ПЛЕЙ-ОФФ). Живет в Домодедово (Россия).

Надя ДЕЛАЛАНД, Домодево (Россия)

СТИХИ

* * *

Яблоки на ветке – подойдешь
вспыхнут молчаливым и осенним,
надо воздух каплями просеять.
Обнимаю. Скоро буду. Дождь.
Пахнет пылью, синим, и гроза
смотрит, запрокинувшись, и водит
по воде рукою и травую
вздрагивает, закатив глаза.
Не дыши. Губами пробуй лоб.
Я вот-вот. Темнеет над обрывом.
Ахнет оземь, грянет, это ливень,
ливень, ливень, никакой не дождь,
повезло. И памятник в слезах.
Вот и все, теперь терпи убытки –
яблоки лежат в воде убиты
ливнем. Ливень, ливень, я гроза.
В воздухе снаряды и разряды,
на земле в траве в воде лежат,
каждое в руках бы поддержать,
полежать бы с каждым рядом.

* * *

Вознесение. Дождь. Сын за руку приводит отца,
тот с улыбкой, бочком, мелко шаркая, входит, и кафель
отражает его водянисто, и несколько капель
принимает с одежды, и вовсе немного с лица
растворяет в воде, и тому, кто идет по воде,
прижимая подошвы, уже непонятно, кто рядом,
он скользит, улыбаясь, в нелепом телесном наряде
старика, собираясь себя поскорее раздеть,
раздеваясь, роняя, то руку, то ухо, то око,
распадаясь на ногу, на лего, на грустный набор
суповой, оставаясь лежать под собой
насекомым цыпленком, взлетая по ленте широкой
эскалатора — вверх, в освещение, в воздух, в проток
светового канала, смеясь, понимая, прощая
старый панцирь, еще прицепившийся зябко клешнями
к незнакомому сыну, ведущему в церковь пальто.

* * *

Птица-курица, эх, женщина-птица,
говорящая почти что понятно,
размножается в неволе, боится
одиначества и холода. Снято,
стоп, а ну его, последний, осенний
месяц май перед белеющей стужей,
отступающий от юга на север,
с кельтским лаем по твердеющим лужам.
Обострение всего – как по нотам
(как по нотам, лысый череп и что там
есть еще, чтоб завернуть тягомотный
твой ноябрь?). Жизнь не бывает короткой
из-за осени, которая длится
ровно столько, сколько вынести сложно
человеку и мучительно птице,
только курице и женщине можно.

* * *

Туман спадает...я его надеваю, а он спадает...
Не мешайте мне спать...
Что же дальше?
В детстве я протягивала лицо
маме и говорила: «Поцелуй
старую птицу».
Мама смеялась: «Какая ж ты старая?»
И целовала.
Теперь я иду, бормоча себе:
«Старая птица»
И отвечая: «Какая ж ты птица?»
Никто меня не поцелует.

* * *

Подорожник крылатый, и пыльно затихли в траве
незнакомые буквы изогнутых слов арматуры,
мы уже опоздали везде, мы такой человек,
пробегающий мимо затурканной старою дурой.
Помоги зацепить мне его за скользящий рукав,
объяснить, что спешить бесполезно, пусть сядет на землю
у обочины в тот подорожник, в те ребусы трав –
тут ли, так ли, о том ли и тем ли – да, главное – тем ли?
Но его не унять, он несется, пытаюсь спасти
десять тысяч ненужных вещей от забвенья собою,
отпусти же меня, и меня, и меня отпусти,
и его отпусти, и ее отпусти любовно.

Подорожник сорви и поплюй, приложи к голове,
мимо едут машины, и кто-то проходит – и бох с ним.
Улыбайся, сиди – ничего, ты такой человек.
Не стыдись, потому что теперь ты значительно больше.
Несмотря на ничтожность. На то, что с листочком на лбу
у дороги никто не сидит, удивляясь и млея.
И с симпатией смотрит на выкопанную трубу,
сквозь которую видно подробно прошедшее лето.
У сезонных раскопок таких акведука всегда
есть прекрасная детская радость, изгваздав штанишки,
проползти через всю эту дуру навеки туда,
где тебя поцелуют за то, что ты старый и нищий.

* * *

там женщина с собачьей головой
у мусорки разгадывает тайну
и выплакав запас свой годовой
роняет изо рта язык кривой
и отдыхает с мертвыми цветами
к ней подойти – не думай и забудь
она противник близкого знакомства
я тоже обращусь когда-нибудь
в такую нищету груди и губ
в тоску и жадность преданность и скотство
и это сходство будущее связь
старения египетская сила
меня то привлечет то отвратит
возможно я еще не началась
а этот цвет у неба – синий синий
рассеянный – всегда меня простит

* * *

У меня остаются вопросы во рту и в носу,
на ладошке, на левой щеке, на коленке и в юбке,
они носятся, перебирая словами, и хрупко
оппадают – опа, а другие зудят навесу.
Я пыталась задать их, подсаживала, как в гнездо
нерадивую птичку, но мне отвечали: «Не надя!
Уноси свои перья, ты что – с головою не ладишь?
Затолкай их обратно и краски забудь на изо».
И приходится их распускать муравьями и львами,
сесть на лысой полянке и тихую песенку спеть,
напоследок последнему в самую смерть посмотреть
и уйти без вопросов, другое уже напевая.

* * *

весна плюс вот уже равно
в уме не сосчитаешь
и я унылое говно
иду бреду шатаюсь
вздыхаю досточка скрипит
кончается конечно
еще немного потерпи
до нашей тьмы кромешной
там только шелест червяков
копающих и жрущих
немного душно но легко
не дышится воздушно
и облачно над головой
иду бычок из лужи
намок согнулся и кривой
наг желтоват простужен
он умер я пока жива
и смотрит благосклонно
младенец сделавший а-а
как я ползу со склона

* * *

так и живу одуванчиком подзаборным
днем на пичальку твердо кладу с прибором
ночью шепчу привычно во тьме кромешной
да мой любимый да хорошо конечно
больше не буду (как быть мне? когда не буду)
ты ничего не понял а мне отсюда
не объяснить уже ничего туда
где никогда наступившее навсегда

* * *

Немота – это дар. Всё равно я с тобой говорю
то рассветом, то сном, то другими простыми вещами,
прикасаюсь травой, фонарями тебя освещаю,
это я – подойди хоть к какому теперь фонарю.
Раньше было сложнее. А теперь обернись и смотри –
эта птица, и этот осколок, и тот переулок,
все фигурки Майоля под небом любого июля,
всё, что ты говорил.

* * *

Гербариум теней, библиотека лены
и имени ее, сухие мотыльки
под лестницей летят, блестя попеременно,
то мертвой головой, то крылышком руки.
Так снятся этажи сознания – и гулко
и мраморно в костях под куполом, и я
спускаюсь, шебурша шелками, в переулки
хранилищ мотыльков и их нежибытья.
Вперед, еще абзац пройди такой же полный
пробел и выходи всей бабочкой в окно,
в озоновую глубину, где можно и не помнить
откуда, и куда, и кто. Куда и кто.

* * *

Багульник зацвел фиолетовым светом
и вот иномирен теперь и лучист
кварцует всю кухню и пахнет бессмертно
весенним осенним дрожаньем свечи
багульник какой ты багульник какой ты
багульник багульник (как ты щегловит)
цвети очень больно ужасно спокойно
и ваза прозрачна и тоже болит
ведь ты не багульник конечно ты выход
сквозь это свечение в самую глубину
роение атомов собственный выдох
цветущими ветками взорвана грудь

* * *

Лесов таинственный осень
резной прозрачный сухостойный
дыши листвою не окосей
от столька
Но запах втеплится в нору
между корою и грибами
ляг на живот его берут
губами
Там пушкин спит и тютчев спит
и мандельштам иосип бродский
заснул устав бороться с ним
устал бороться
Роняют руки свет несут
прозрачнеют и снега просят
и держат держат на весу
осенью осень

* * *

Бог не старик, он – лялечка, малыш,
он так старался, сочиняя пчелок.
Смотри, как хвойный ежик непричесан,
как черноглаза крошечная мышь...
Но взрослые скучны, нетерпеливы,
рассеяны и злы, им невдомек,
какое счастье этот мотылек,
кружащийся над зреющею сливой.
И почему он должен слушать их,
когда его за облако не хвалят?
...Ну что же ты? Как мне тебя обнять-то?
всех вас троих...

* * *

тють медлит опускаться, и пока
она висит, проходит по паркету
на тонких лапках тень от паука,
веселая, стремящаяся к свету.

* * *

А мы стояли там втроем,
обнявшись. Рядом
паслись стрекозы. Водоем
качался садом.
Растерянно и глубоко
в небесном мраке
лакали звезды молоко,
и львы, и раки
спускались к дереву в цветах
и замолкали,
и ты читал меня стихам
ему на память.
И все терялось в нежной мгле
(ведь он-то знает),
еще подумай обо мне,
мне легче станет.
Хотя бы вспомни мой браслет
и Пастернака,
пусть нас с тобой на свете нет,
взойдем из мрака.

* * *

Тело мое, состоящее из стрекоз,
вспыхивает и гаснет тебе навстречу,
трепет и свет всё праздничнее и крепче,
медленнее поднимаются в полный рост.
Не прикасайся – всё это улетит
в сонную синеву и оставит тяжесть
бедного остова, грусть, ощущение кражи,
старость и смерть, и всякий такой утиль.
Эту музейную редкость – прикосновение
и фотовспышка испортят и повредят.
Можно использовать только печальный взгляд
долгий и откровенный.

* * *

Лесная глушь, сосны, комары
летают молча, клювы в ножны пряча,
я – весь июнь, но это до поры,
а там посмотрим, что все это значит.
Бывает так: оглохнешь и лежишь,
прислушиваясь к запаху и свету.
И все тогда двоится. Жизнь и жизнь.
Приподнимая свой посмертный слепок,
ты смотришь и смеешься мне в лицо,
а я считаю зубы – сорок. Плачу –
и пальцы покажи, и то кольцо.
Ломаться и паясничать, артачиться
и балагурить – пол-но-те! Как встарь
бежим к реке, припоминай, как было:
вода и лес в воде, в воде алтарь
кувшинковый, и дождь, и изобильный
зеленый свет повсюду. Можно, да,
что ни помысли. Маленькую Землю
возьмем с собой – тут все-таки вода,
сосны, комары, и мы сквозь зелень.

* * *

смотри уже осень летит с подоконника в сад
и я тебя очень но что нам об этом писать
у сердца над домом колесики смерти стучат
мой сервер раздолбан и некуда вставить (молчать!)
полжизни которой я шла до тебя без тебя
смотри уже скоро и небо начнет облетать –
холодным и строгим всю осень мою занесет
и книги и ноги и губы и волосы – все

на родственный отзвук потянутся корни и рты
я рядом я возле мне кажется я это ты
диктант на проверку – согласна не произнесу
молчу суеверно но – главное самую суть
смотри уже дремлет с дремучего дерева лист
с задумчивым креном к молчащему центру земли

* * *

Отходи в сторону, не иначе
сонное дерево, ветрюган,
все, что упало к его ногам,
умерло – листья, собака, мяч.
Вот оно – я отвожу глаза,
дичь распростерло ветвей и над
ужасом смотрит, как сходит в ад
осень, собаку на руки взяв,
в землю, под землю, слегка дрожа,
листьями походя шевеля.
Вот оно: примет меня земля,
буду и я колоски рожать.

* * *

Это куриный бог. Это сделал куриный бог,
потому что обычная курица не смогла бы проклянуть камень.
Солнце стоит в воде по пояс, по самый вдох
круговорота, вверх маревом подтекая.
Останови закат – так тебя швыранет
инерционный всплеск, что ничего не вспомнить.
Невыносимо жжёт свет красоты, и в нем
плавится и растёт тот, кто стоит и смотрит.
Глаз свой сквозной в меня вперит куриный след
клюва и возомнит ниточку поклоненьем,
но я не ко-ко-ко, а просто смотрю на свет
в дырочку, через ход веры – через – сомненье.

* * *

Пасмурный молчаливый вечер.
Набрать в рот воды, раздуть облака,
и так сидеть, косясь на мелких ласточек,
падающих по небу.
Гора, гора, я – гора, гора,
говорят они, дразнятся, начинают плакать,
чтобы я плюнула, чтобы я выплонула

и ответила – это я гора,
я – гром и молния,
и все засверкало и ожило,
и перестало ломить кости под перьями,
и они бы прижались к горе
и стали ее частью.
Так сбывается все, что скажешь.

* * *

поезд поезд скоро ли я тронусь
что там ест похрустывая Хронос
где-то на границе с темнотой
плачут дети жалобно и громко
что же я как мне спасти ребенка
каждого кого окрикнуть стой
ой-ёй-ёй охотники и зайцы
раз два три увы не хватит пальцев
сосчитать грядущих мертвецов
у тебя щека в молочной каше
не умри женился бы на Маше
Вере с Петей сделался отцом
не стреляй у мальчика Миколы
скрипка он идет домой из школы
повторяя мысленно стихи
Пушкина все взрослые остались
теми же и даже тетя Стася
добрая и нет вообще плохих
положи на тумбу пистолетик
посиди немного в туалете
никого не следует убить
луковое горе наказание
я же десять раз уже сказала
выбрось пульки постарайся быть

* * *

Смеющихся громко, бегущих под ливнем,
смеющихся тихо и прячущих слезы,
совсем одиноких, безумно счастливых,
больных и здоровых, смешных и серьезных,
кричащих с балкона, поющих под домом,
роняющих папки с листами доклада,
стоящих у лестницы, пьющих боржоми,
нарзаном измученных, тех, что украдкой
смотрели и тех, что не прятали взгляда,

идуших не в ногу и рядом бегущих,
правдивых и этических – скрывающих правду,
и лгущих, и мало и многоимущих,
летающих, ползающих, земноводных,
рыб, раков, тельцов, козерогов и прочих
живых и умерших, все их переводы
и подлинники, и подстрочник,
дорогу в ромашках, котов, попугаев,
настольные лампы, детей, стариков и
тритонов, спаси, сохрани, не ругай их,
им больно.

* * *

перестану узнавать
кто зашел в мою палату
лица станут как заплаты
и когда влетит пернатый
ангел с клювом виноватым
ляжет рядом на кровать
грустный маленький горбатый
я возьму его с кровати
колыбельно напевая
чтобы ртом своим кровавым
навсегда поцеловать
и когда окно погаснет
и остынет
отпусти и не ругай нас
и прости нас
видишь крыльями свистим
над проводами
проводи нас отпусти
нас не ругай нас
над дорогою над рощею над речкой
облаками освещенными сквозь пальцы
не владея больше мимикой и речью
машем крыльями тебе смеемся плачем

* * *

Роне

умирать совсем не страшно
надо только захотеть
рыжий лес увидеть сверху
горы тихие и степь

спящую
совсем не сложно
надо просто лечь в постель
и смотреть на лес и горы
рыжий тихие и степь
спящую
совсем не больно
просто вышагнуть скользнуть
за дыханием сквозящим
в синеву и белизну

* * *

ну пусть никто не умирает
пусть правда будет смерти нет
и я скажу тебе не бойся
я не совру тебе не бойся
ты главное совсем не бойся
комарик укусил не больно
не плачь мой маленький какой ты
какой ты кто ты сколько лет
тебе мой маленький любимый
я не совру тебе про смерть

ПРОВОДЫ

1.

Проводы. Сорок дней.
Шкурки в мешке шуршат,
чувствуют, видно, снег
с ней уходящий, смех
мертвых бельчат, мышат,
шах, – говорит мне слон, –
мыши, – ему пишу, –
съели запасы слов,
нам еще повезло,
что остается шум,
шорох, дыханье, смех,
Тютчев, конечно, Фет,
жизнь остается, смерть,
жизнь, остается смерть,
жизнь, остается, смерть.

2.

Вот умрёшь, и увидишь, что ты жива,
и поймёшь, что я-то была права,
и что влага глаза и рукава
у меня от радости грусти.

Радость грусти – это слова, слова,
ты – жива, жива, ты – жива, трава,
синева небес, и вода, и ва –
даже воздух – лёгкий и устный –

всё осталось слаженно, смещено
только дно глазное и неба дно,
и одно, лежащее там, одно
в полумраке времени смутном...

Но оно устало, оно – окно,
что ослепло, стало твоей стеной,
старый дом свой, сломанный свой земной...
в теремочке кто там? кому там?

Смерть страшна для тех, для кого страшна.
Просыпайся, больше не бойся сна,
обниму тебя, можешь дальше спать
и не спать. Нельзя обернуться.

Можно дальше. В огненный жаркий шар,
не дыша, дыша, не дыша, на шаг,
не мешай, на шаг от карандаша,
переведшего смерть в герундий.

Или – жизнь. Слова затемняют смысл,
превращая ясность глагола в сны,
умирая, мы продолжаем слыть
словно луч – от света и к свету.

Плыть, лететь и длиться, расти и мыть
зеркала от пыли, окно тюрьмы
растворилось в свете, в устах немых
мы не мы и в смерти нет смерти.

3.

Радостная погода. Снег, понимаешь, светит.
Две фонари языко свесились, алчно лижут,
вздрагивают, вздыхают, пробуют жалко выжить,
гаснут и их огарки – памятник смерти.

Я не могу так больше – рвётся с прозрачным звуком
прочная паутинка. И отпускает шарик,
губы раскрыв, руками в воздухе тихом шаря,
кто-то такая – вижу белые руки.
Дальше уже не страшно. Можно оставить в вазе
ссохшуюся галету, фантик, другую мелочь,
всё, что сегодня утром думала, что имела.
Радостная погода. Праздник.
Спрашивай всё, что хочешь! Я не скрываю больше
возраст, размер ботинка, талии, бёдер, бюста.
Старой была и толстой дурую. Вот ублюдство!
Очень боялась смерти. Боли?
Берег. Знакомый кто-то мне фонарями машет,
целый букет, охапка из светляков, скорее!
Славно, что ты приходишь в облике близком встретить.
Страшно, что мне не страшно. Страшно.

4.

Я запомню: как ты машешь мне рукой,
смеёшься, стоишь на балконе,
маленькая, уменьшающаяся – такой
я тебя и запомню.
Остальное приложится (что сделает?) и тогда
возникнет из, ставшей тобою, точки,
разом покрыв осколки, что та вода,
разом покрыв осколки.
Так срастаются черепки из обратной съёмки
в старом кино, где девочка, кокнув вазу,
просит цветок об этом, и я спросонок
вспомню тебя – всю разом.

* * *

Воды крещенской иглы, синева
теней, перебегающих по снегу
на цыпочках. Опять тебе зима.
Я привыкаю к холоду – давай,
как в прорубь сиганувшие с разбегу
ненужную одежду, плоть снимать
и подниматься паром над котельной,
синеть глазами – так навывлет синь
простреливает голову и видит
крест то ли ключик золотой нательный
двоится и блестит или висит
или плывет в воде до воскресенья.

* * *

Вестибулярный снег осваивает круг,
пощупав за лицо узбека от лопаты,
он кружится вовсю и презирает труд,
ложится и лежит, идет и будет падать.
В блестящей толчее почти не разобрать,
как нёбный язычок дрожит из подворотни,
не бойся, я своя, и ко всему добра,
пусть это не пароль, зато бесповоротно.
Шарф скроет или нет, как здесь пустует речь,
шепча и бормоча, тарашась воровато.
Ребячество – вот так идти, лететь и лечь,
и навзничь на сугроб. Так вроде – старовата.
Вся оптика моя – смотреть сквозь микроскоп
снежинки на простор, с которым нужно слиться,
кружиться головой, удариться виском,
проспендить выходной на даче с мертвой птицей
за изгородью. Вот, проснувшись лет шести,
я снова от нее перо найду в кровати,
снег тужится забыть, и память – замести
весь ужас небытья. Мы складывали в вату
стеклянные шары и шишки, мишуру,
гирлянды и звезду и прятали коробки.
Так глупо, если снег, и если я умру,
но, если снег, то как все правильно и просто.

ПАСХА

1.

сольфеджио весенних воробьев
изглиняных на солнцепеке богом
стремление листвы произойти

не стой не стой не то тебя убьет
весенней экстраверсией — обоих
и синева и солнца каротин

и вымолвлены губ и жаркий полдник
всей кожей и дыхание и свет
и этот нимб на акваланг похожий

не думай — я еще все это помню
я все еще все помню и в родстве
с тобой с тобою и с тобою тоже

дыхание возьми (возьми же!) и
защечки на выдохе всей глиной
свистулькой разоряясь разорись

апрельским воскресеньем оживи
холодное немое руки спину
живот грудную клетку шею лик

2.

В апреле умерли ты, ты и ты.
Солнце еще подчеркивало нелепость
смерти, и щебетало, и все кусты
хохлились и проклевывались, а летом

боль постепенно глухо сошла на нет,
факт исказился, требовалось другое,
было так жарко – ужас, страна теней –
стала звучать прохладней, чем лес и горы.

Горе залезло в маленький коронар
и затаилось – добренькое и злое,
чтобы как выскочить и удушить при нас
всякий апрель в апреле в память о боли.

3.

Бережными движениями слепца
луч опознал по очереди и выбрал
ту половину шкафа, стены, лица,
ту половину. Не подавая виду,

что пополам разделен, ты спишь, а он
молча уткнулся в щеку тебе горячим
горлом, уперся в самую из сторон
самую, вжался, кажется, что заплачет.

Или исчезнет. Или, предубежден,
кожных покровов ризу пройдет сквозисто,
света достигнет, не говоря «идем»,
выйдет тебя, из, выведет, приступ, пристав.

Так, на конце луча, врасхорош, врасплох
взят, ты проснешься, помня, и луч, и счастье,
и безъязыкость и почему не смог
смог почему дозваться и докричаться.

* * *

От. Оттепель. По воде
в резиновых сапогах,
вода огибает здесь
и здесь, отдает в ногах
движением. От теперь –
весна, ясен пень и день
прозрачен – то оттепель,
апрель на седьмой воде,
кисель снеговой реки,
журчащее пенье птиц,
все нынче течет – теки
и ты, по воде пройтись –
легко, невесомо, пост,
так посто, что хоть взлети
воробышком в полный рост.

* * *

Слава Тебе, показавшему мне свет,
воду, траву, сороку, луну, снег,
небо любого цвета, детей, дни
оны, трамвай, который идет в них,

книги, дороги, парки, листву, смех
мамы, кота и рыжий его мех,
гулкий колодец, поезд, стихи, дверь,
чтобы одна я, чтобы меня не две,

осень, весну, рождение и, да, смерть,
радость дышать, наваждение вообще – петь,
вишню в цвету, Пастернака, латынь, мох
северной стороны, росамах, блох,

шторы, камин и танец его огня,
старость, носок на спицах, покой, меня.

* * *

хочу быть крепкой старухой
сухощавой девяностолетней бабкой
благословляющей Бога
сходившей утром к колодцу
сварившей правнуку каши
прилегшей вздремнуть на лежанку...

на окнах сквозняк ловит ситец
весна задыхается в небе
мурлыкает кошка под боком
старушечьим мертвым но добрым

* * *

Даниилу Чкония

Госпитальная хроника. Срывы ленты.
Из свечения вырастет день, в который
на кровати у мумии слушать лепет,
из бинтов доносящийся, слушать хором
всей палаты, пока еще – молодая
врач на утренний на обход на
этот раз подсядет к нему туда и
будет слушать (вишь она не уходит).
Он с раздробленной челюстью, еле слышно
говорит ей: «доктор, скажите... доктор...»
(замолкает, думает, громко дышит,
громко дышит, громко и очень долго).
Ничего – ни глаз не видать, ни носа –
забинтован так, что – пиши пропало.
Тихо-тихо в корках пануют осы,
иногда арбузно вонзая жало.
Она думает: «спросит сейчас – а буду
жить? А видеть? И только – ходить не спросит...»
«убежала бы» – думает. Но отсюда
иногда – выходят, вообще – выносят.
С напряженной жалостью смотрит в прорезь,
наконец он спрашивает: «смогу ли
целоваться?». Пауза. Сложно. Просто
врач подносит к прорези губы.

* * *

Вечной странницей в вечном ж/д ожидаю, когда
подадут мой плацкарт, трепыхая его сочлененья,
и я лягу на полку и буду не спать – города
и деревни за окнами скачут, во тьме коченея.
Сквозь рассыпчатый храп и чух-чух буду я различать
одинокую музыку. В панике пыли хлопчатой
проводница-луна словно светодиод Ильича
в хари раме живет отпечатком, печатью молчанья.
Горловое бессонное месиво длится, живет,
переходит в рассвет и, когда остается немного,

перед смертью как будто бы, я засыпаю и вот
жадно сплю, но во сне продолжаю смотреть на дорогу.

* * *

Грунтовка через холмы. Сэкономишь пару часов.
Сквозь изгородь – и туда, где облако ест с руки.
В воздушной склянке ветров струится морской песок,
секунды текут кругом и вяжутся в узелки.
Не вышло преодолеть себя – так на гору лезь,
оскальзываясь, бреди по гравию и траве.
Быть может, там, в синеве и вечности, Тот, Кто есть,
приблизит лицо к тебе, как к бабочке – человек.
И в бездну если смотреть, а тут в синеву Его...
Стой столько, сколько стоишь, но дольше не задержись,
живи себе куда жил, откуда себя живешь,
сквозь изгородь и холмы, по-над-через жизнь.

* * *

перинатально спит на краю зимы
морщится трогает лапкой кусочек неба
маленький март – заснежен ещё зернист
полупрозрачен – видны на просвет все нервы
тёмные ветки полны тишины весны
если кусать их медленно и небожно
пульс пробужденья жизненных сил лесных
ритм оживанья мёртвого и рябого
вникнет и отзовётся на все лады
ветка предчувствий – листьев чесотка почек
тянущих клювы – смерть принимают льды
молча уходят молча уходят молча
толщею ожиданья прикрыт и спит
скоро начнется – вот уже гул подземный
эхом тоннелем входит в мои виски
и сквозь меня на вечный приход глазеет

* * *

Молчит ночная фаланга света
молочнотеплым телячьим телом,
ребенкоспящим, сосущим слепо,
слепососущим, немовспотелым,
собаколунным, собакобыко,
пиши мне в небо на этот адрес,
за все отвечу, за все и быстро

все отвечают, как оказалось.
Я помню тяжесть твою в походке
моей, я помню привычки, вкусы,
я ела кальций и мяту, хочешь
теперь все то же, но только — устно?
Другие связи, другие сети,
земной объявлен сегодня поиск.
Но браки — там, и оттуда — дети,
пиши мне чаще, я беспокоюсь.

* * *

Год на девятом месяце – всю
толкается желтеющая чаща
неймется на березе карасю
и голубь в луже маленький и спящий
(спокойной ночи радость) помнит как
он пил ее а анна иоанна
несла крупу в трепещущих руках
легко переступая всякий камень

Дно сентября усеяно тоской
по ино бы по кляксам руковетким
взбираешься качаясь где высок
простор небес и плачешь незаметно
широкошумен позадитый мир
да погоди ты – все ли ты оставил
(оставил взял) деревьями людьми
небесным сводом рукописных правил

Комароморы прыгают в воде
и в жажде поцелуя замирают
зеленые здесь нет меня нигде
я где-то выше по теченью раньше
по времени по тексту по всему
листай листай ищи меня повсюду
подозревай во мне мышей и мух
и серый мох и тронутый рассудок

Пора вставать – из тьмы небытия
кравым солнцем лопнувшим сосудом
из онеменья рук – факир был пьян
но ты дыши – уже вторые сутки
и нету сил и даже чтоб рыдать
в бессилии осеннем темно-синем
нет мамочки теперь уж никогда

спасибо

* * *

Посмотри в окно – всё ветрым-ветро,
око ветра льнёт, косо сеется,
се февраль грядёт, слеповатый крот,
снегороющий, крайне северный,
я ползу с детьми рюкзакая,
мне самой смешно, страшно весело,
что с рассвета и до заката я
бытовое всё это месиво,
словно сон смотрю свой беременный,
зимоатомный: сани тяжкие,
что за жизнь моя в этом времени
кем-то сужена-разнаряжена...
Распределена и – работаю.
Отработаю и – куда потом?
Кем я вырасту с той заботою
из земли – весной – кверху ртом?

* * *

Снилась мне темнота. Как в детстве, в шкафу,
в темную комнату тихой войдешь и в шкаф
влезешь, в вещах утонешь, в больших вещах
мамы и папы, а кто-то идет искать,
кто-то уже ощупывает софу.

Нечем дышать, но спасенье – оно же смерть,
надо терпеть. Надо ждать, а потом бежать.
Вот и сидишь в темноте, крепко-крепко сжав
что-то из шерсти, пока голова, кружась,
ни упадет, продолжая во тьму смотреть.

Снилась мне темнота, просыпалась в сон
битыми пикселями. Постепенно поверхность ее
становилась гладкой, как слово «район»,
и я отражалась в ней, и лицо мое
было мне не знакомо, и все.

* * *

Атрофия листика, дистрофия
солнцевидных прутиков, жидковат
звукоряд чирикающих в эфире
воробьят и, может быть, жуковат.

Жуковато выглядит лес олений,
на охоту ходит с улыбкой еж,
он поймал за голову и колени
половину рыжика, целый дождь.

Лена, Катя, выйдете, поглядите,
разве здесь побегаешь по утрам?
Отступает лес, и ползет вредитель –
в муравьях живучий подъемный кран.

* * *

Т. Гладышевой

Мохнатые пылинки плавно спят
под лампою и морды тянут к свету.
Так колыбельно, так тик-так бессмертно
глубокой ночью время ходит вспять.
Шкаф улыбнулся скрипло и застыл
с открытым сердцем и внезапной молью –
внезапной, резкой, от которой – молча
всё рушится, не складывая крыл.
Собаки брешут – глухо, нутряно,
зажавши пасть, боясь проговориться,
и ночь летит, а это значит – птица,
и птица спит, а это значит – ночь.

* * *

За это время я успела
родить детей,
привыкнуть к своему лицу,
понять, что душераздирающая жалость –
единственная верная любовь,
узреть, что я беспомощна,
что Бог нас не оставит,
но и не поможет
взойти на этот холм, откуда свет
всё сделает понятным и прощенным.
Не много,
но надежда остается,
и радость происходит
и дышать,
и всякое дыханье...

Страница в Журнальном Зале

{jacomment off}